**Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ**

**Семь смиренных**

Тяжело говорить горькую правду о близких людях. Между участниками "Вех" есть люди мне близкие1.

Если я все-таки решаюсь говорить, то потому, что дело идет о слишком важном, чтобы не забыть все личное. Не остается неизменным, по крайней мере с моей стороны, это личное: уважение ко всем, и больше, чем уважение, к некоторым.

Судя их, сужу себя в прошлом: ведь и я когда-то был *почти*там же, где они теперь; я знаю по собственному опыту, какие соблазны туда влекут. Когда их бью, бью себя.

Пусть уж они простят меня, если могут, и, во всяком случае, не думают, что этими словами я золочу пилюлю: знаю опять-таки по собственному опыту, что пилюлю не позолотишь ничем; но горечь ее может быть спасительным лекарством.

**I**

   Маленькую лошаденку запрягли огромные мужики в огромную телегу.

   "Садись, всех довезу. Вскачь пойдет!

   -- Она вскачь-то уже десять лет, поди, не прыгала.

   -- Запрыгает!

   -- Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, зготовляй!

   -- И то! Секи ее!"

Когда читаешь "Вехи", вспоминаешь этот сон Раскольникова2: телега -- Россия; лошаденка -- русская интеллигенция.< …>

Вдруг лошаденка лягается: русская интеллигенция утверждает, что у нее всеочищающий огонь -- освобождение.

   Тогда начинают бить уже не кнутами, а оглоблею.

<…> Но лошаденка все еще не подохла: из последних сил дергает, чтобы вывезти. Наконец, добивают ее железным ломом.

Нам, русским интеллигентам, "не только нельзя мечтать о слиянии с народом -- бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной", -- Гершензон.

Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает.

"Доконал!

-- А зачем вскачь не шла!"

<…>

  <…>

"Люди, соединившиеся здесь для общего дела, -- сказано в предисловии, -- расходятся между собою в основных вопросах "веры"".

Слово "веры" в двусмысленных кавычках.

"Их общей платформой является признание... что внутренняя жизнь личности есть *единственная*творческая сила человеческого бытия. -- В пределах этой общей мысли между участниками нет разногласия, нет противоречий. Противоречие, да и то кажущееся, только в вопросе о *"религиозной"*природе этой мысли".

   Слово "религиозной" опять в лукаво-невинных кавычках.

…

   И вот все эти различия переливаются одно в другое неуловимо, как цвета радуги; противоречие христианства и нехристианства, может быть, даже антихристианства, кажется кажущимся -- сном во сне. А общее дело -- лишь общая ненависть: тут уже не до "веры" -- не до жиру, быть бы живу: тут все забыто, прощено, презрено, перед лицом врага враги обнялись, свились, склещились, склубились в один клубок.

   Что значит: "внутренняя жизнь личности есть *единственная*творческая сила"? Это значит: нет христианства. Ибо христианство утверждает, что творческая сила личности *не единственная,*что религиозный предел личности -- соединение, соборность, общественность, церковь, как тело Христово, как новое Богочеловеческое Я, в котором только и может совершиться полнота каждого отдельного Я человеческого. Вне церкви нет спасения, нет спасения личного вне общественного. -- *Да будут все едино, как ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино5.*-- На этом завете основана церковь: уничтожить его -- уничтожить ее. Если религиозная сила личности -- единственная, если нет религиозной силы общественной, то нет церкви, нет христианства, нет Христа.

   Не "кажущееся противоречие", не маленькая щель -- в этих полутора строчках, а бездонная пропасть, в которую все проваливается.

   Бездонная пропасть, а над нею семь цветов радуги.

**III**

Для Бердяева спасение русской интеллигенции в "религиозной философии"; для Франка -- в "религиозном гуманизме"; для Булгакова -- в "христианском подвижничестве"; для Струве -- в "государственной мистике", для Изгоева -- в "любви к жизни"; для Кистяковского -- в "истинном правосознании"; для Гершензона -- в старании сделаться "человеком" из "человекоподобного чудовища".

Семь нянек семью песенками баюкают дитя: семь врачей семью лекарствами лечат больного. Но недаром говаривал Амвросий Оптинский, давать советы -- бросать с колокольни маленькие камешки, а исполнять -- большие камни на колокольню таскать.

Пусть правда все, что говорят "Вехи" о русской интеллигенции; идущему по узенькой дощечке над пропастью сказать: убьешься -- тоже правда; но правда не любви.

Кто может помочь, помоги; но нелюбовь -- не помощь.

Кто может быть мостом, будь; но радуга не мост.

**IV**

"Понятие революции есть отрицательное; оно не имеет самостоятельного содержания, а характеризуется лишь отрицанием ею разрушаемого; поэтому пафос революции есть ненависть и разрушение".

В этих словах Булгакова -- основная мысль книги, та скрытая ось, вокруг которой все вращается; тот белый цвет, в котором слиты семь цветов радуги.

Революция -- одно отрицание без всякого утверждения; ненависть без всякой любви; разрушение без всякого творчества; зло без всякого добра.

Булгаков отсюда не делает вывода, но вывод ясен: если революция -- разрушение, ненависть и отрицание, то реакция -- восстановление разрушенного -- созидание; угашение ненависти -- любовь; отрицание отрицания -- утверждение; и, наконец, если революция -- антирелигия, то реакция -- религия, а, может быть, и обратно -- реакция: вывод, давно уже сделанный врагами религии.

Продолжая этот вывод, мы придем от "Страшного суда" над русской интеллигенцией, русской революцией к "Страшному суду" над всей европейской культурой, ибо вся она вышла из горнила революционного, вся она -- застывший сплав металла, кипевшего некогда на революционном огне. Если революция -- одно отрицание, ненависть и разрушение, то и вся культура тоже; так ведь и думали те христианские подвижники, на которых ссылается Булгаков как на обладателей совершенной истины; для св. Серафима Саровского все европейское просвещение -- антихристово.

Существует два понимания всемирной истории: одно, утверждающее бесконечность и непрерывность развития, ненарушимость закона причинности; для этого понимания свобода воли, необходимая предпосылка религии, есть метафизическое и теологическое суеверие; другое -- утверждающее *"конец",*"прерыв", преодоление внешнего закона причинности внутреннею свободою, то вторжение трансцендентного порядка в эмпирический, которое кажется "чудом", а на самом деле есть исполнение иного закона, высшего, несоизмеримого с эмпирическим: свобода Сына не нарушает, а исполняет закон Отца.

Первое понимание -- научное, *эволюционное;*второе -- религиозное, *революционное.*

<…>

Отвергать положительное религиозное содержание *не только в эмпирике, но и в мистике революции*-- значит отвергать Апокалипсис -- всю христианскую эсхатологию, всю христианскую динамику -- Христа Грядущего, а следовательно, и Пришедшего, ибо Грядущий и Пришедший -- *один.*

Где же и зародилось революционное понимание всемирной истории как не в христианстве? Все революции древнего мира имеют смысл национальный, политический; только у христианских народов начинается и продолжается, уже никогда не прекращаясь, а лишь переходя от одного народа к другому, всемирное революционное движение как вечное искание Града Божьего, как сознательно или бессознательно воплощаемая *эсхатология6.*

На Западе, в папстве, абсолютизме духовном, на Востоке, в кесарстве, абсолютизме светском, иссякла, исказилась и окаменела она; но огненный родник ее доныне бьет в сердце русского народа -- в расколе-сектантстве и в освобождении, в интеллигенции -- во всех русских отщепенцах, "настоящего Града не имеющих, грядущего Града взыскующих". Это бессознательное *эсхатологическое самочувствие*и делает интеллигенцию народною, во всяком случае, более народною, чем народники "Вех".

Освобождение кончено для них, найден град: "17 октября 1905 года мы подошли к поворотному пункту, -- утверждает Изгоев. -- Мы -- на пороге новой русской истории, знаменующейся открытым выступлением наряду с правительством общественных сил". -- Это ведь и значит найден град.

Вот с чем никогда не согласится русская интеллигенция: она может быть раздавлена, похоронена заживо, но не смешает настоящего Града с грядущим, Вавилона с Иерусалимом. И в этом, без имени Божьего, она ближе к Богу, чем те, у кого Он с языка не сходит и для кого чаяние Града, по откровенному заявлению Струве, есть "апокалипсический анекдот".

**V**

Что Петр Великий -- "первый русский интеллигент", Гершензон слышал, кажется, между прочим, и от пишущего эти строки, который дает именно такое определение русской интеллигенции по поводу "Страшного суда", учиненного над нею некогда арх<иепископом> Антонием Волынским7, суда, поразительно совпадающего с "Вехами". "Наша интеллигенция ведет справедливо свою родословную от петровской реформации", -- замечает Гершензон.

Если это справедливо, то покончить с интеллигенцией -- значит покончить с Петром. Гершензон это и делает: двумя-тремя строками уничтожает Петра.

"Как и народ, интеллигенция не может помянуть ее (петровскую реформу) добром... Она расколола личность, оторвала сознание от воли, научила сознание праздному обжорству истиной ".

Раздавил Петра, как муху, -- только мокренько.

Но раздавил ли, полно? Нет ли все-таки в реформе кое-какого "добра", которым должны помянуть ее русский народ и русская интеллигенция? Перед исполинскими Вехами Петровыми не смешные ли бирюльки -- вехи Гершензоновы?

Петр -- первый русский интеллигент и первый русский отщепенец; все наши интеллигентское отщепенство идей, конечно, от Петра. Но именно эта способность вдруг отщепиться, отколоться, оторваться от всего настоящего и прошлого, чтобы ринуться неистово к будущему, -- самое русское из русских свойств. Вот почему ни крестом, ни пестом Петра из России не выбьешь. А что он русский, мы более поверим Пушкину, чем Гершензону.

Петр не только первый русский интеллигент, но и первый русский революционер: об этом тоже знал Пушкин, который так прямо и назвал Петра *величайшим революционером.*Венец преобразований -- освобождение России: недаром началось оно 14 декабря у подножия "Медного всадника". Народность петровского преобразования -- народность русского освобождения и русской интеллигенции, потому что *русская интеллигенция есть русское освобождение.*

Если Петр -- муха, раздавленная Гершензоновой хлопушкой, то "нам должно благословлять власть, которая одна своими штыками, тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной", -- готовой нас проглотить; но если Петр -- камень всей России, то ну-ка, попробуйте, отнимите штыки: пусть глотают -- не проглотят, небось, подавятся камнем Петровым.

   Если Петр -- "бес", то вся интеллигенция -- "бесноватая"; но если он свят для России, то свята и дщерь Петрова. И плевать в лицо ей, значит, плевать в лицо России.

**VI**

"Добро, строитель чудотворный...

Ужо тебе!.." И вдруг стремглав

Бежать пустился8.

Так бежит Струве в допетровскую Россию, "к тем людям Московского государства, которые, по зову патриарха Гермогена, под председательством Минина и Пожарского, довели до конца дело восстановления государства в борьбе с противогосударственным " воровством ".

Кто нынешние Гермогены, Минины и Пожарские, остается неизвестным; но ясно, кто "воры": интеллигенты. "На смену казачества, разинской вольницы приходит интеллигенция", -- говорит Струве. "Безрелигиозность и безгосударственность" -- две стороны одного и того же "отщепенства"; "отрицая государство, интеллигенция отвергает его *мистику".*В этом и только в этом, по мнению Струве, "ключ к пониманию революции", которая "бросилась на атаку самодержавно-дворянской России -- с бездонным легкомыслием".

Казалось бы, из всего этого необходимый вывод, что восстановление и укрепление современной русской государственности есть прежде всего восстановление и укрепление самодержавия. Так ведь оно и было в XVII веке; для Гермогена, Минина и Пожарского государственная мистика заключалась в самодержавии.

В чем же заключается она для Струве? В империализме? Но неужели не видит он, что будущий русский империализм на современной русской конституции -- мыльный пузырь на соломинке? Третья Дума и министерство Столыпина как предмет веры, как мистика -- ведь это курам на смех; это анекдотичнее всякого "апокалипсического анекдота". Уж не лучше ли добрый старый порядок? Тут, по крайней мере, дело идет начистоту.

Почему бы, в самом деле, не последовать Струве умному совету Гершензона -- не "благословить власть с ее штыками и тюрьмами"?

В идее абсолютной монархии заключены такие мистические соблазны, какие не снились конституционному империализму. Может быть, главный грех, главное расхождение русской интеллигенции с народом именно в том, что она не только не преодолела, но и не почувствовала этой соблазняющей мистики, отвергла ее слишком поверхностно, эмпирически, не имея на то религиозного права.

Вот ведь и Булгаков уже знает, что "в исторической душе русского народа всегда боролись заветы обители препод<обного> Сергия и Запорожской сечи, Разина и Пугачева". Знает Булгаков, и мы знаем, за что стояла обитель препод<обного> Сергия: за неразрывную связь самодержавия с православием. Освободительное движение порвало или пыталось порвать эту связь, но в освободительном движении, по мнению Булгакова, нет ничего, кроме "отрицания, ненависти и разрушения", -- "легиона бесов": эти бесы, воры, пугачевцы и разинцы, злейшие враги церкви и власти как единого народного тела, суть русские интеллигенты, русские революционеры. Восстановить заветы препод<обного> Сергия, неразрывную связь церкви с властью, не значит ли победить революцию в славном ее отщепенстве, изгнать из России "легион бесов", спасти Россию в ее единственно национальной идее, в ее всемирно-историческом призвании -- *мессианизме?*

   "Национальная идея, -- говорит Булгаков, -- основывается прежде всего на *мессианизме,*в который с необходимостью отливается всякое сознательное национальное чувство. Так именно понимали национальную идею Достоевский, славянофилы, Вл. Соловьев".

   Но ведь знает опять-таки Булгаков, и мы знаем, в чем для славянофилов заключается мессианизм: в трех наглухо спаянных звеньях: православие, самодержавие, народность. Приняв два крайних звена -- православие и народность, -- на каком основании выкидывает Булгаков среднее, соединяющее, главное? Выкинуть его, значит, порвать цепь. В чем реальное воплощение и динамика исторической церкви вне исторической власти? В империализме Струве, в мыльном пузыре на соломинке? Если душа России -- православие, то тело -- самодержавие; где душа, там и тело; нельзя принять душу без тела или тело без души. Нет римского католичества без папы, главы церкви; нет восточного христианства без кесаря, тоже главы церкви, не только по историческому опыту, но и по мессианскому направлению.

<…>

**VII**

"После ихних похвал захочется плюнуть на Россию", -- говорит Гоголь о славянофилах. Наши современные славянофилы все ищут в темноте ощупью и никак не могут найти "национальное лицо" России: там, где должно быть лицо, черт знает что.

Татары, бывало, в Золотой Орде мучили русских пленников; клали на них доски, садились и пировали. Вот где наше "национальное лицо"!

Такую же медвежью услугу оказывают "Вехи" и религиозному сознанию русской интеллигенции.

<…>

Не медвежья услуга разве только одна: доказательство от противного, что, несмотря на безобразие русского освобождения, есть у него тайный религиозный смысл, так что, может быть, чем безбожнее явное, тем религиознее тайное; -- отрицать этот смысл можно, только отрицая всякую религиозную общественность, что и делают "Вехи", -- доказательство от противного, что *освобождение если еще не есть, то будет религией; и религия если еще не есть, то будет освобождением.*

Что этого нет, все видят; что это будет, немногие верят. Не видеть и верить -- уже религия. "Блаженны не видевшие и уверовавшие". -- А кто хочет видеть и не может верить -- уходит в стан врагов. Пусть уходит. На страшном гумне молотят нас всех, как пшеницу: солома отлетает, зерно остается -- мало, зато чистое.

По слову Псалмопевца, "сидим во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом"11. Железо до костей, скорбь до смерти.

Кажется, наступил тот полуночный час, когда вот-вот раздастся крик петухов, возвещающий солнце.

Прислушаемся же, не прозвучит ли в наших сердцах этот крик; жив Господь; и живы души наши, да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русское освобождение!

*(Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. СПб.; М.: Изд-е т-ва М. О. Вольф, 1911. Т. XII. С. 69--82; первоначально опубл.: Речь. 1909. 26 апреля (9 мая))*